Железная женщина

Автор:
Нина Берберова

Железная женщина

Нина Николаевна Берберова

Чужестранцы

«Железная женщина» – книга об одной из самых загадочных женщин XX века, Марии (Муре) Закревской-Бенкендорф-Будберг. Ее любили, ей доверяли и посвящали свои сочинения Максим Горький и Герберт Уэллс. Ею был увлечен британский дипломат и разведчик Роберт Брюс Локкарт. Нина Берберова была знакома с этой удивительной персоной, и ее с блеском написанный роман, полный документальных свидетельств и писем, давно стал бестселлером.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Нина Берберова

Железная женщина

* * *

© Histoire de la baronne Boudberg, Nina Berberova

© Editions Actes Sud – Arles 1988

© Vostock Photo

© Бондаренко А. Л., художественное оформление

© ООО «Издательство АСТ»

Предисловие

– Кто она? – спрашивали меня друзья, узнав про книгу о Марии Игнатьевне Закревской-Бенкендорф-Будберг. – Мата Хари? Лу Саломе?

Да, и от той и от другой было в ней что-то: от знаменитой авантюристки, шпионки и киногероини и от дочери русского генерала с ее притягательной силой, привлекшей к ней Ницше, Рильке и Фрейда. Но я не оцениваю, не сужу Муру, не навязываю читателю свое мнение о ней и не выношу ей приговора. Я стараюсь сказать о ней все то, что мне известно. Кругом не осталось людей, знавших ее до 1940 года или даже до 1950-го. Последние десять лет я ждала – не будет ли что-нибудь сказано о ней. Но люди, ее современники, знавшие ее до второй войны, постепенно исчезали один за другим. Оставались те, которые знали о ней только то, что она сама о себе им говорила. Кое-кто еще помнил ее, писал о ней или говорил мне о ней, но почти всегда это были одни и те же анекдоты о ее старости: она была очень толста, очень болтлива, когда выпивала, немножко сводничала, много сплетничала и подчас напоминала старого клоуна[1 - «Мура была любимицей [русской] императрицы и близко знала Распутина. Она выжила и стала долголетней подругой Керенского. Она стала членом нового русского двора и чуть ли не любимицей Сталина, который ей позволил уехать из Советского Союза, хотя и умолял ее остаться». (Михаил Корда, «Очарованные жизни». С. 120.) Или еще: «Она начала переводить в 1917 г. Критика повсюду хвалила ее переводы Чехова, Тургенева, Андре Моруа и др.». (На обложке перевода М.И.Б. «Жизнь ненужного человека» М. Горького. Doubleday, 1971). Книга Моруа о Прусте была переведена позже и вышла – посмертно – в 1975 г. Она никогда не переводила ни Чехова, ни Тургенева.].

Я три года прожила с ней под одной крышей и сохранила о ней свои записки (не дневник, но календарные записи и записи некоторых разговоров с ней); отношения у нас были добрые, но не близкие и лишенные эмоциональной окраски. В то далекое время она, по многим причинам, которые будут ясны из текста, гораздо больше ценила дружбу В. Ф. Ходасевича, чем мою (я была на

девять лет моложе ее).

Здесь все факты, которые я старалась спасти от забвения. Источники мои – это документы и книги от 1900 до 1975 года. Они помогли мне раскрыть тайну ее предков, подробности ее личной жизни, имена ее друзей и врагов, цепь событий, с которыми она была иногда тесно, иногда косвенно связана. Мужчины и женщины, рожденные между 1890 и 1900 годами, все были захвачены этими событиями экзистенциально и часто – трагически. Обстановка и эпоха – два главных героя моей книги. Два замужества М.И.Б., которые в ее судьбе не сыграли особой роли, были исковерканы и даже прерваны российской катастрофой. Мура принадлежала стране, эпохе, классу, и в этом классе каждый второй был истреблен. Мура боролась, шла на компромиссы и выжила.

В 1938, в 1958, в 1978 годах я знала, что напишу о ней книгу. Ее жизнь должна была быть закреплена во времени – ее молодость, ее борьба и то, как она уцелела. Свидетелей этой жизни, видимо, не осталось. Кое-где в Англии ее имя несколько раз упоминалось в мемуарах, дневниках и переписке, а также в ее некрологе в лондонской «Таймс». Все, что писалось, писалось с ее слов. Когда я стала проверять ее рассказы, я увидела, что она всю жизнь лгала о себе. «В мое время» никто не сомневался в правдивости ее слов. Но мы все были ею обмануты.

Она прожила с М. Горьким двенадцать лет, но в советском литературоведении данных о ней нет: в трех-четырех случаях, когда ее имя попадается в тексте, подстрочное примечание поясняет, что М. И. Будберг (титул баронессы не упоминается), урожденная Закревская, по первому мужу Бенкендорф, была одно время секретаршей и переводчицей Горького, – видимо, полуиностранка, которая всю жизнь жила и умерла в Лондоне. Горький посвятил ей свой четырехтомный (неоконченный, последний) роман «Жизнь Клима Самгина», но и к этому посвящению никогда не дается подстрочного примечания.

Она никогда не упоминается в связи со своим первым любовником, Робертом Брюсом Локкартом (позже сэром Робертом), которому в «Большой советской энциклопедии» отведено место, как и его «заговору» 1918 года (под буквой Л), ни в связи с Гербертом Уэллсом, знаменитым английским писателем, чьей «невенчанной женой» она была тринадцать лет (1933–1946), после отъезда Горького в Россию и до смерти Уэллса. В воспоминаниях коменданта Кремля, Малькова, арестовавшего в сентябре 1918 года и Локкарта, и ее, она названа «некоей Мурой, его сожительницей», которую он нашел в спальне Локкарта.

У трех человек, сыгравших огромную роль в жизни М.И.Б., была различная посмертная судьба: живой, привлекательный, остроумный, отзывчивый Локкарт живет теперь целиком в своих книгах воспоминаний и дневниках. В старости он был знаменитым, с большими связями, светским человеком, но советские писатели, драматурги и историки его забросали грязью, изображая его в своих сочинениях продажным и вульгарным шпионом, корыстным дураком, империалистическим агентом, надутым и чванным[2 - Драматург Н. Погодин, лауреат Ленинской премии, сделал «заговор Локкарта» сюжетом своей пьесы «Вихри враждебные». Другая его пьеса, «Миссурийский вальс», касается США, а в «Кремлевских курантах» одно из действующих лиц – Герберт Уэллс. В 1967 г. один из первых советских диссидентов Ю. Кротков поместил в «Новом журнале» (Нью-Йорк, № 86) свою исповедь, покаянное «Письмо мистеру Смиту». Кротков пишет: «Перед смертью, побывав в Америке и вернувшись домой, в узком семейном кругу он [Погодин] сказал, что все, что он написал об Америке [и Англии?], и все, что о ней пишут другие советские авторы, все неправда». (Подчеркнуто в подлиннике.)].

Долгая жизнь Герберта Уэллса была многократно описана в биографиях и статьях о нем, где обсуждались скрытые личные и общественно-политические проблемы, мучившие его в последние годы жизни. Но о его совместной жизни с Мурой мы не найдем подробностей, несмотря на то что ее долголетняя близость к Уэллсу сыграла огромную роль в отношении писателя к России и в разочаровании его в Октябрьской революции, омрачившем его последние годы. Его сочинения 1930-х и 1940-х годов до сих пор в СССР не переведены, и советские критики, упоминая о них, говорят, что «они полны сатирических тенденций». Его мрачное предсмертье изображается как умиротворенное настроение великого человека, пришедшего наконец к убеждению, что компартия Великобритании «стала последней его надеждой».

Что касается Горького, то у него до сих пор нет биографии – изданное для школьников жизнеописание (сто двадцать три страницы), разумеется, нельзя принимать в расчет. Его письма напечатаны в извлечениях и далеко не все, его фотографии пострадали от красного карандаша цензора[3 - М. Горький. Полное собрание сочинений в 30 томах. Москва, 1949. В т. 15, с. 336, есть фотография Горького, снятая Максимом в Саарове, в 1923 г. Он сидит на скамейке в саду, а я – срезана.], его взаимоотношения с современниками искажены. Три тома «Летописи жизни и творчества» полны ошибок и неувязок: имена, данные в Указателе, отсутствуют в тексте, а имена из текста пропущены в Указателе. Отмечены «отъезды», но не отмечены «приезды» (и наоборот); упомянуты

письма полученные, но не отправленные (и наоборот). Его поездка в 1920 году в Москву из Петрограда[4 - Я называю Петербург – Петербургом до 1914 г. С 1915 г. до 1924 г. – Петроградом, позже – Ленинградом. Я называю Эстонию – Эстляндией и Таллин – Ревелем до 1919 г.] вовсе не отмечена. Из некоторых источников мы знаем, что первая его жена, Екатерина Павловна Пешкова, собиралась написать воспоминания, «когда она будет менее занята» (ей было восемьдесят семь лет); она, разумеется, так их и не написала. Невестка Горького, вдова его сына Максима, «написала» свои, но они были продиктованы ею, а не написаны, т. к. она не знала, как и что ей писать. На каждой странице этих «мемуаров» запутаны даты и факты: об августе 1931 года она пишет: «В том же году Горький поехал на Конгресс в Париж», но Конгресс был в июле 1932 года, и не в Париже, а в Амстердаме, куда, впрочем, голландское правительство его не пустило[5 - В Краткой Литературной Энциклопедии (1962–1978), 9 томов, 79 редакторов, отъезд Горького из Италии в Советский Союз помечен 1931 г. Горький уехал в мае 1933 г. (том 2).].

В «Летописи», между прочим, находим путаницу о дне и месте знакомства Горького с Лениным: они познакомились в гостях у И. П. Ладыжникова 7 мая 1907 года (том 1, с. 658); они познакомились в Петербурге днем 27 ноября 1905 года в типографии «Искры» (с. 563–565); они познакомились вечером (того же дня) в квартире Горького на Знаменской улице – и тут же приложена фотография дома, где это произошло. Все это приобретает гротескный оттенок, когда в Указателе произведений Горького в конце IV тома (тридцать пять страниц) мы не находим известной статьи о Ленине (1924), позже многократно переделанной. Таковы советские историко-литературные источники.

Я сказала, что мы все были обмануты Мурой. Она лгала, но, конечно, не как обыкновенная мифоманка или полоумная дурочка. Она лгала обдуманно, умно, в высшем свете Лондона ее считали умнейшей женщиной своего времени (см. дневники Гарольда Никольсона). Но ничто не давалось ей в руки само, без усилия, благодаря слепой удаче; чтобы выжить, ей надо было быть зоркой, ловкой, смелой и с самого начала окружить себя легендой.

Она любила мужчин, не только своих трех любовников, но вообще мужчин, и не скрывала этого, хоть и понимала, что эта правда коробит и раздражает женщин и возбуждает и смущает мужчин. Она пользовалась сексом, она искала новизны и знала, где найти ее, и мужчины это знали, чувствовали это в ней и пользовались этим, влюбляясь в нее страстно и преданно. Ее увлечения не были

изувечены ни нравственными соображениями, ни притворным целомудрием, ни бытовыми табу. Секс шел к ней естественно, и в сексе ей не нужно было ни учиться, ни копировать, ни притворяться. Его подделка никогда не нужна была ей, чтобы уцелеть. Она была свободна задолго до «всеобщего женского освобождения».

В ее жизни не нашлось места для прочного брака, для детей (у нее их было двое, и только потому, что – как она мне однажды сказала – «все имеют детей»), для родственных и семейных отношений; не нашлось места для уверенности в завтрашнем дне, денег в банке и мысли о бессмертии. В этом она не отличалась от своих современников в послевоенной Европе и пореволюционной России. Во многих смыслах она была впереди своего времени. Если ей что-нибудь в жизни было нужно, то только ее, ею самой созданная легенда, ее собственный миф, который она в течение всей своей жизни растила, расцвечивала, укрепляла. Мужчины, окружавшие ее, были талантливы, умны и независимы, и постепенно она стала яркой, живой, дающей им жизнь, сознательной в своих поступках и ответственной за каждое свое усилие.

Перед смертью она сожгла свои бумаги; те, что накопились после второй войны, хранились в ее лондонской квартире. Ранние (1920–1939) она в свое время собрала и отправила в Таллин, в Эстонию. Они сгорели (так она говорила) во время германского отступления и взятия Таллина Советской армией. Правда ли это? Или она лгала и об этом, когда говорила своей дочери о судьбе бумаг? Может быть. И, может быть, они когда-нибудь всплывут на поверхность в будущем[6 - Что касается лондонских бумаг, будто бы сожженных Мурой перед ее отъездом в Италию, за несколько месяцев до смерти, то имеется показание двух людей (просивших не упоминать их имен в печати), пришедших к Муре накануне ее отъезда из Лондона. Они увидели около десятка больших картонных коробок, наполненных бумагами (книг не было видно) и увязанных крепкими веревками. Коробки отсылались в Италию. Дальнейшая их судьба была трагической: дом, в котором Мура поселилась под Флоренцией, оказался слишком тесен, чтобы в нем устроить ее «рабочий кабинет», и был куплен большой автомобильный прицеп, который был установлен рядом с домом. В этом прицепе был поставлен стол и сделаны полки, и здесь Мура «работала». Освещался прицеп электричеством, которое было проведено из дома. Однажды вечером произошло короткое замыкание, и все, что хранилось в прицепе, погибло в огне. Возможно, что это несчастье ускорило смерть Муры.].

Моя задача заключалась в том, чтобы быть точной и держаться фактической стороны темы; это помогло мне быть объективной, каким, вероятно, должен быть биограф. Себе самой я отвела самую маленькую роль среди действующих лиц, не столько из скромности, сколько из желания написать книгу о Муре, а не о моих отношениях с ней и чувствах к ней[7 - Из упоминаемых в этой книге лиц я лично знала большинство. Из тех, которых я знала только слегка, я назову Ф. Э. Кримера, А. Н. Тихонова, А. И. Рыкова, г-жу Соломон, Шаляпина, Баррета Кларка.].

Я знала ее, когда мне было двадцать лет, и пишу о ней пятьдесят лет спустя. Но знала ли я ее тогда? Да, если «знать» значит видеть кого-то в течение трех лет, слышать кого-то, жить вместе. Но я не знала ее так, как знаю ее сегодня. Я столько узнала о ней, думая о ней столько лет и узнавая о ней правду, скрытую в свое время ею, правду, которую она искажала, когда ее приоткрывала едва-едва, когда говорила нам о себе, создавая и выращивая свой миф, давая нам в те годы этот миф, но не самоё себя.

Но я не отказываюсь от этого ее мифа и не заслоняю миф реальностью, чтобы скрыть его. Я не отбрасываю его, я нуждаюсь в нем, так же как я нуждаюсь в самой реальности. Мне нужны оба плана, они составляют эту книгу.

Она была молодой в эпоху вдохновенную и зловещую, жила в определенном месте (которое все еще существует, но только в географическом смысле), и потому мы имеем право сказать, что ее жизнь принадлежит тому, что французы называют «малой историей».

Но оставило ли наше столетие место для «малой истории»? Не было ли все, что случилось с 1914 года, только «большой историей»?

В 1920-х и 1930-х годах два великих биографа дали законы своему и двум следующим поколениям, два больших европейских писателя упорядочили хаос в области, которую им было предназначено обновить и прославить: Литтон Стрэчи и его ученик Андре Моруа. Я называю их большими писателями и великими биографами сознательно: они повернули искусство писания о действительно живших людях и реальных событиях их частной жизни и исторического фона в новую сторону и укрепили фундамент, на котором шаталось все здание. Я предполагаю, что теперь, спустя полвека, их книги перестали читаться и

законы, ими данные, постепенно потеряли свою силу. Но было бы странно, если бы этого не случилось: в западной культурной жизни за это время был такой расцвет литературы (всех видов прозы, если сказать точнее), что мы теперь все меньше обращаемся не только к старой литературе, но и к книгам начала нашего века. Но законы были даны, и я им следую здесь. Первый из них и основной: никакой выдумки, никаких украшений, порожденных воображением, только свидетельства, никогда не домыслы, выдаваемые за факты. Если было сказано: может быть, не могло быть сказано ни да, ни нет. Если с моей стороны есть попытка разгадать загадку, то за нею следует и признание, что разгадки нет.

За последние четверть века, особенно в США, биография и автобиография как жанр переживают никогда прежде в литературе невиданный расцвет. Интерес пишущих и интерес читающих к этому жанру идеально совпадают, как сто и больше лет назад совпадали они с такой же интенсивностью в требовании (или заказе) реалистического романа. Ничего загадочного в этом нет: это – реакция на современный кризис деперсонализации человека и на связанный с этим интерес его к истории. Мы узнали о себе и других слишком много и хотим увидеть изнанку мифов. Современная личность настолько усложнена усложнившейся историей и настолько обнажена, что мы с неудержимой силой и жадностью вовлечены во все большую демаскировку мифов, открывая их скрытую суть, ища идентификаций, ответов и структур. Порядок, строй, закон – основы умственной жизни человека – нам стали нужны больше всего остального. Они не могут дать нам ответы, но они могут вести нас в том направлении, где лежат ответы на вопросы, поставленные нашим временем и все продолжающей усложняться историей.

Расцвет жанра дал развиться двум друг другу противоречащим методам. Пользуясь первым, автор откровенно предупреждает читателя: я смешивал реальность с вымыслом, и так вы и должны воспринимать эту книгу. Она – не роман и не академическая работа, «я вышивал по канве фантазии, чтобы развлечь вас». Среди представителей этого метода – Трумэн Капоте, Кристофер Ишервуд, Норман Мейлер. Некоторые критики считают, что Капоте его создатель; Ишервуд признаётся, что учился у Мейлера – «украшать факты» и что его автобиографические книги – «все немного романы». Во втором методе все обосновано, все – документально. Иногда страницы пестрят подстрочными примечаниями, иногда они отведены в конец книги, иногда их заменяет подробная библиография. Образчик такой работы – монументальная биография Генри Джеймса, написанная Лионом Эделем. В одной из своих работ он писал: «Единственный акт воображения, дозволенный автору-биографу, это

воображение формы. Биографы ответственны за факты, которые должны быть ими интерпретированы. Неинтерпретированный факт – это золото, зарытое в земле. Я решил искать истину в двух направлениях: в структуре эпизодов и в психологической интерпретации прошлого… Дать историю в форме биографического повествования, оставаясь в то же время верным всем моим документальным материалам, – вот в чем я видел тонкость и занимательность моей задачи». («Жилище львов», с. 9.)[8 - И далее, перефразируя Литтона Стрэчи: «Биография может быть аналитической, живой, человеческой, сжатой. Целое может быть выведено из его части. Человек, герой биографии, всегда двойственен, иррационален, необъясним и противоречив, а потому в подходе к нему не может не быть иронии». (С. 256.)]

Я старалась следовать методу Эделя. В конце книги мною приложены две библиографии – русская и иностранная, – эти книги (около трехсот) были положены в основу моей работы. Я использовала их. Но это далеко не все: при мне была моя память, сохранившая мне прошлое, все то, что когда-то было рассказано М.И.Б. мне лично, В. Ф. Ходасевичу, нам вместе, а иногда и нам всем, тем, кто дружно жил в доме Горького в те годы, в Саарове, в Мариенбаде, в Сорренто.

Я написала здесь все, что знала. Если читатель сделает мне упрек, что я написала недостаточно, то я приму этот упрек, найду его отчасти справедливым. Но я написала все, что я могла написать; если бы я написала больше, это было бы беззаконие. Если кто-нибудь когда-нибудь узнает о М.И.Б. больше меня, я буду счастлива, но боюсь, что этого не будет.

Диалогов в книге нет. Только слова, когда-то произнесенные в моем присутствии. Прямая речь, если она попадается, не моя уступка развлекательности, она либо была мне передана свидетелем, либо взята мною из мемуарной литературы. Но главным образом прямую речь я передавала косвенно[9 - Два момента в книге требуют пояснения: первый касается ночи с Уэллсом в квартире на Кронверкском, второй – фотографий, показанных Муре Петерсом. Оба факта она рассказала сама: второй – мне, когда она поливала мне намыленную голову из кувшина в Мариенбаде, первый – Ходасевичу, когда они ехали ночью из Берлина в Шварцвальд.].

Название книги взято от прозвища, которое еще в 1921 году было дано М.И.Б. Горьким. В этом прозвище скрыто больше, чем на первый взгляд заметит читатель: Горький всю жизнь знал сильных женщин, его несомненно тянуло к

ним. Мура была и сильной, и новой, но, кроме этого, она была известна окружающим тем, что происходила от Аграфены Закревской, медной Венеры Пушкина. Это был второй смысл. И третий стал нарастать постепенно, как намек на «Железную маску», на таинственность, окружавшую ее. «Железная маска» – до сих пор неизвестно, кто скрывался под ней. Человек в неснимаемой железной маске на лице был привезен в 1679 году в крепость Пиньероль, во Франции, а затем в 1703 году переведен в Бастилию, где и умер. И в самом деле: Мура оказалась не тем, за кого выдавала себя, до последнего дня жизни – как мы увидим – умножая ложь и умалчивая слишком о многом. В этом состояла одна из главных задач ее жизни.

Она рано очистила себе путь для легенды: никого не было вокруг, кто бы мог внести поправку в ее рассказы. Тот мир, где она жила до 1918 года, был уничтожен, и она вышла из него невредимой (может быть – не вполне). Кроме нее самой, никто ничего не мог свидетельствовать о ее прежней жизни, а настоящую было, конечно, легче уберечь: в новом мире она не имела корней, и Мура была в ней полной хозяйкой. Но что случилось с этой легендой после ее смерти? Она осталась неприкосновенной, затвердев такой, какою оказалась в последние десять лет жизни М.И.Б. Все это не значит, что Мура не знала страхов, но страхи ее были не те, прежние, которые были у наших бабушек, они тоже были новыми, как и сами судьбы внучек: страх тюрьмы, страх голода и холода, страх беспаспортности и – вероятно – страх раскрытия тайн. И радости были новые: радость свободы личной жизни, не стесненной ни моральным кодексом, ни тем, «что скажут соседи», радость выжить и уцелеть, сознание, что она живет в эпоху «пост-Гарбо в роли Маргариты Готье» и что она не была разрушена теми, кого любила.

Я хочу выразить мою благодарность следующим лицам и учреждениям за помощь в работе над этой книгой:

Архиву Герберта Гувера в Станфорде (Калифорния) в лице его сотрудников Чарлза Г. Пальма и Рональда М. Булатова.

Институту имени Кеннана (Вашингтон) в лице профессора Фредерика Старра (сейчас – вице-президента университета Тулэн).

Библиотеке Принстонского университета в лице его сотрудников О. В. Пелеха и Тэда Арнольда, а также сотрудниц библиотеки Зинаиды Бронер и Лилы Ржиха.

Библиотеке и архиву Сили Г. Мэдд, в Принстоне.

Институту имени Кеннана и клубу университета Калифорнии (Беркли), предоставившим мне возможность жить и работать на месте.

За ценные ответы на мои вопросы, возникавшие в процессе работы: сэру Исайе Берлину (Оксфорд), г. Эльдриджу Дурброу (бывшему секретарю посольства США в Москве в 1930-х годах), проф. Джоффри Бесту (Англия), Алексису Ранниту (Йельский университет), профессору Джорджу Клайну (Брин-Моур), профессору Григорию Фрейдину (Станфорд).

За чтение моей рукописи в целом и в отрывках: профессорам Кароль Аншутц (Станфорд), Ричарду Сильвестеру (Колгейт), М. Г. Баркеру (Ратгерс), Герману Ермолаеву (Принстон) и Геннадию Шмакову.

Также благодарю за переписку на машинке Барри Джордана и за тщательный просмотр текста А. Сумеркина, С. Петруниса и С. Шуйского.

Н. Б.

Начала

Прошлое было прологом.

«Буря». II, 1, 126.

В 1920-х и 1930-х годах о ней было известно, что она кончила Кембриджский университет и была переводчицей шестидесяти или больше томов русской литературы на английский язык. Ее называли графиней Закревской, графиней Бенкендорф, баронессой Будберг. Считалось, что ее отец был сенатор и член Государственного совета в Петербурге, но что она сама большую часть жизни жила в Лондоне. Урожденная Закревская, она считалась правнучкой или, может быть, праправнучкой Аграфены Федоровны Закревской, жены московского губернатора, которой Пушкин и Вяземский писали стихи. В. Ф. Ходасевич так до самой смерти и считал, что «медная Венера» Пушкина была Муре сродни, а сэр Роберт Брюс Локкарт в одной из своих поздних книг называет ее русской аристократкой.

На самом деле вся эта легенда была придумана ею, вероятно, не сразу, но мало-помалу, в ее рассказах о прошлом. Она была дочерью сенатского чиновника Игнатия Платоновича Закревского, не имевшего отношения к графу А. А. Закревскому, женатому на Аграфене; первый муж Муры, Иван Александрович Бенкендорф (родившийся в конце 1880-х годов) к линии графов Бенкендорфов не принадлежал, с царским послом, внучатым племянником николаевского шефа жандармов, был в отдаленном родстве, как тогда говорили: принадлежал к боковой линии, т. е. не имел графского титула, хотя и происходил из прибалтийского дворянства. Кембриджский университет до первой войны женщин не принимал, но в городе Кембридже были в те годы две женских школы – Гиртон, открытая в 1869 году, и Ньюнхам, открытая в 1871-м. Их Мура не кончила, а пробыла в Ньюнхаме одну зиму для усовершенствования в английском языке, который был ей знаком с детства. В 1911 году родители послали ее в Англию под присмотр ее сводного брата, Платона Игнатьевича Закревского, состоявшего в это время в чине надворного советника в русском посольстве в Лондоне. Что касается шестидесяти томов переводов, то этого, конечно, не было и быть не могло, но цифру «тридцать шесть» она уже в 1924 году назвала одному своему близкому другу. Однако ни в 1924-м, ни в 1974 году – когда она умерла – их не было. В конце ее жизни их можно было насчитать около двадцати (за пятьдесят лет), и не все переводы были с русского.

Единственное, что было правдой, это факт ее второго замужества, давшего ей титул баронессы Будберг. С этим именем она никогда уже не расставалась (хотя в Советском Союзе он мало кому известен, там она чаше значится под фамилией Закревской-Бенкендорф; Марии Игнатьевне Закревской посвящен четырехтомный роман Горького «Жизнь Клима Самгина»). С именем Будберг она не расставалась до смерти, хотя с самим бароном Будбергом она рассталась едва ли не на следующий день после свадьбы.

Я помню, как однажды Ходасевич спросил ее, что она думает о своей бабушке, о которой Пушкин писал Вяземскому в сентябре 1828 года:

Я пустился в свет, потому что бесприютен. Если бы не твоя медная Венера, то я бы с тоски умер. Но она утешительно смешна и мила. Я ей пишу стихи. А она произвела меня в свои сводники (к чему влекли меня и всегдашняя склонность и нынешнее состоянье моего Благонамеренного, о коем можно сказать то же, что было сказано о его печатном тезке: ей-ей намерение благое, да исполнение плохое).

Мура имела свойство иногда не отвечать прямо на поставленный прямо вопрос. Ее лицо – серьезное, умное и иногда красивое – вдруг делалось лукавым, сладким, кошачьим, и, с полуулыбкой и избегая ненужного ответа, она уходила в свое молчание.

Но Арсений Андреевич Закревский (1783–1865), получивший титул графа в 1830 году и не оставивший мужского потомства, был, как и жена его, героем рассказов Муры о семейном прошлом графского рода. Мура увлекательно рассказывала о своих «предках», и мы любили слушать ее. Он был сыном дворянина Тверской губернии и правнуком Андрея, сражавшегося под Смоленском в 1655 году, взятого в плен и позже пожалованного землями в Казанском уезде. Арсений начал свою карьеру в гвардии, участвовал в войнах финляндской и турецкой, в 1811 году был назначен адъютантом Барклая-де-Толли, а в 1813–1814 годах состоял при Александре I как ближайший к нему генерал-адъютант. В 1828-м он был назначен Николаем I министром внутренних дел, с оставлением в должности генерал-губернатора Финляндии, которую занимал с 1823 года. В графское достоинство он был возведен за борьбу с холерой, той самой, которая задержала Пушкина в Болдине. Но борьба была неудачна, карантины Закревского только еще больше распространяли эпидемию, и ему в 1831 году пришлось выйти в отставку. Только в 1848 году вернулся он к деятельности как генерал-губернатор Москвы. Когда его спрашивали, почему он во все вмешивается, даже в семейные дела подопечных ему москвичей, он оправдывался тем, что сам царь дал ему соответственные инструкции. Только в 1859 году Александр II уволил его с должности и он ушел на покой.

Он был женат на Аграфене (1799–1879), которая сделала Пушкина своим «наперсником». Он посвятил ей два стихотворения, и в обоих чувствуется его восхищение ее «бурными», «мятежными» и «безумными» страстями. Одно было «Портрет»:

С своей пылающей душой,

С своими бурными страстями,

О жены севера, меж вами

Она является порой

И мимо всех условий света

Стремится до утраты сил,

Как беззаконная комета

В кругу расчисленном светил.

Другое – «Наперсник»:

Твоих признаний, жалоб нежных

Ловлю я жадно каждый крик:

Страстей безумных и мятежных

Как упоителен язык!

Но прекрати свои рассказы,

Таи, таи свои мечты:

Боюсь их пламенной заразы,

Боюсь узнать, что знала ты!

с его срезанным концом:

Счастлив, кто избран своенравно

Твоей тоскливою мечтой,

При ком любовью млеешь явно,

Чьи взоры властвуют тобой…

Она же появляется в восьмой главе «Евгения Онегина», в строфе XVI под именем Нины Воронской: вышедшая замуж за генерала, Татьяна:

…сидела у стола

С блестящей Ниной Воронскою,

Сей Клеопатрою Невы;

И верно б согласились вы,

Что Нина мраморной красою

Затмить соседку не могла,

Хоть ослепительна была.

Ходасевич до конца жизни не знал, что эти строчки не имели никакого отношения к Муре. Он иногда читал их ей и говорил: «Искать примеров, как жить, не нужно, когда была такая бабушка». И Мура сладко потягивалась и жмурилась, и, как это ни странно сказать, играть в эти минуты в кошечку как-то шло ей, несмотря на ее мужественную, твердую и серьезную внешность.

Игнатий Платонович Закревский был совсем другой линии. Он происходил от малороссиянина Осипа Лукьяновича, чей сын, Андрей Осипович (1742–1804), был одно время директором Академии художеств. Игнатий Платонович приходился Андрею правнуком. Он был черниговский помещик и судебный деятель, печатавший статьи в юридических журналах. Эти статьи о наследственном праве, о судебной реформе в Болгарии, об учениях новой уголовно-антропологической школы и даже о равенстве в обществе он начал писать еще в Черниговской губернии. Когда семья разрослась, он перевез ее в Петербург и поступил служить в Сенат. Он умер в 1904 году, дослужившись до должности обер-прокурора Первого департамента[10 - В «Списках гражданским чинам первых четырех классов», за последние двадцать лет до революции, имя И. П. Закревского не значится. Напомню, что «третьего и четвертого классов» были действительные статские советники, директора гимназий и др., служившие «в средних чинах». Статские советники могли быть чиновниками пятого класса.]. У

него было четверо детей.

Мура была младшей, она родилась в 1892 году. До нее был сводный брат, Платон Игнатьевич (еще от первого брака И. П. Закревского), о ком известно очень немногое: мы встречаем его имя в списке служащих в русском посольстве в Лондоне в чине камер-юнкера, в Берлине, «состоящим при посольстве» – небольшая должность, равная помощнику секретаря. Затем были близнецы, девочки, Анна и Александра (Алла), обе впоследствии вышли замуж, первая – за Кочубея, вторая – за француза Мулэн.

Девочки учились в институте. Но я никогда не замечала в Муре типичных «институтских» привычек и свойств, которые «гимназистки» дореволюционной России так презирали: слабонервность, искреннюю или наигранную восторженность, провинциальную отрешенность от русской реальности, малограмотность в вопросах искусства и литературы, преклонение перед всеми без исключения членами семейства Романовской династии. Гимназистки, особенно либеральных гимназий, твердо знали, что приседать, вышивать, ахать и произносить французское эр (вместо того чтобы читать Ибсена и Уайльда, Гумилева и Блока, Маркса и Дарвина) было делом несчастных институток, которых судьба навеки выталкивала из реальной жизни. Расти, а потом – стареть, без всякой подготовки к пониманию современных политических, социальных, научных и эстетических проблем, казалось моему поколению каким-то жалким уродством.

Но Мура не принадлежала ни к вышивающим, ни к приседающим. Она была умна, жестка, полностью сознавала свои исключительные способности, знала чувство ответственности, не женское только, но общечеловеческое, и, зная свои силы, опиралась на свое физическое здоровье, энергию и женское очарование. Она умела быть с людьми, жить с людьми, находить людей и ладить с ними. Она несомненно была одной из исключительных женщин своего времени, оказавшегося беспощадным и безжалостным и к ней, и к ее поколению вообще. Это поколение людей, родившихся между 1890 и 1900 годами, было почти полностью уничтожено войной, революцией, эмиграцией, лагерями и террором 1930-х годов.

После института пришла Англия. Не Франция, куда возили мамаши своих дочек попроще: во Франции было дешевле, и французский язык казался тогда необходимостью, а английский – роскошью. И не Германия, куда уезжали русские девушки за высшим образованием, и не за парижским произношением, а

за физикой, химией, медициной. В эти годы Платон был в посольстве в Лондоне, а послом там был покровительствующий ему Бенкендорф, на этот раз настоящий граф, потомок пушкинского врага. У него в доме Мура встречала, когда приезжала из Ньюнхама, европейских и английских дипломатов, служащих британского министерства иностранных дел и – среди других гостей – одного из первых англичан, до страсти увлеченных Россией. Его зовут Морис Бэринг. Он берет уроки русского языка у старшего сына посла, Константина, рослого, сильного красавца; он постоянный посетитель салона графини Бенкендорф, урожденной Шуваловой, которая матерински ласкова с ним. Это – будущий переводчик русских стихов, будущий автор салонных английских комедий, друг литераторов Европы, чье собрание сочинений выдержало много изданий и состоит из ныне забытого театрального репертуара и поздних викторианских романов.

Бэринг – фигура замечательная, какая могла появиться только в Англии и только в устойчивом мире начала XX века. Его все любили, и он всех любил; он бывал всюду, и все его знали. Семейство русского посла, Александра Константиновича, он попросту обожал, и не только самого посла, гофмейстера и кавалера ордена Белого Орла, и графиню Софью, и их взрослых сыновей, Константина и Петра, но и брата посла, графа Павла Константиновича, гофмаршала и министра Двора и Уделов, того, кто позже издал свои мемуары о последних днях царя в Царском Селе и о том, как он, гофмаршал и министр, в 1917 году самолично спускал в уборную Царскосельского дворца содержимое столетних бутылок винного погреба, чтобы революционная стража дворца, которая вошла и заняла все входы и выходы, не перепилась.

Бэринг обожал и всех домочадцев Бенкендорфа, начиная с домоправителя и повара (француза, конечно) до собак охотничьих, сторожевых и комнатных. Самым счастливым временем своей жизни он всю жизнь считал то лето в Сосновке, имении Бенкендорфов в Тамбовской губернии, куда он поехал и где он был обласкан, как ближайший друг и член семьи. Он оставил воспоминания об этом времени, о свободной, веселой райской жизни в обществе графа, его жены и сыновей. Они ходили на волка, играли в теннис, читали вслух при старинных керосиновых лампах Марка Твена по-немецки, играли в карты, катались на тройках и все вместе рисовали акварелью. Бэринг научился в Сосновке есть икру и стал говорить по-русски. Бенкендорф читал с ним Пушкина и всеми любимого в этом кругу А. К. Толстого. Бэринг до своей смерти в 1945 году оставался горячим другом России, и на проклятые вопросы, пришедшие в наш век из прошлого века, «кто виноват?» и «что делать?», всегда отвечал: «никто не виноват» и «нечего делать».

Дипломатическая карьера Бэринга началась в Париже, в английском посольстве; затем он был переведен в Копенгаген. Здесь он встретил Бенкендорфа и его семью, а когда Бенкендорф был переведен русским послом в Лондон, Бэринг стал проситься в Форин Оффис, чтобы тоже быть в Лондоне, потому что уже в это время не мог себе представить разлуки с графом, графиней и их сыновьями. Эта близость с русской семьей наложила на всю жизнь молодого английского дипломата свою печать. В Александре Константиновиче он видел олицетворение русского европейца, как тогда понималось это выражение на Западе. «Дальновидный, умный, прозорливый, он работал для дружбы Англии и России, – писал он впоследствии. – Он понимал музыку. Он любил мои стихи. Он читал Вольтера, Байрона, Шиллера в изданиях, хранившихся в библиотеке брата его деда [т. е. в библиотеке шефа жандармов Бенкендорфа]. Он был абсолютно совершенным собеседником: знал, что и как говорить людям самых разных возрастов и состояний. Он справедливо считал, что человек должен быть грансеньором, а если он им не родился, то обязан выглядеть им». Далеко не все судили о царском после в Лондоне так восторженно, однако. В 1923 году первый секретарь русского посольства К. Д. Набоков, заменивший Бенкендорфа в 1917 году (граф умер 31 декабря 1916 года), был совершенно противоположного мнения о своем патроне: в своих воспоминаниях он писал, что Бенкендорф не знал, где находится Лхасса, что русский язык его был недостаточен, и что он на русских производил впечатление иностранца. Но что он «отлично понимал пружины политики» 1905–1915 годов и «умел производить впечатление подлинного мудреца». Писать (он всегда писал только по-французски) он не умел, «писал запутанно и тускло».

После пребывания в Сосновке Бэринг не захотел вернуться в Англию и уехал в Маньчжурию, третьим классом, чтобы приобщиться к русскому народу и посмотреть на Русско-японскую войну. Он поехал вместе с Константином Александровичем, старшим сыном посла, моряком, призванным на Дальний Восток. Бэринг побывал под огнем и, когда вернулся в Москву, стал военным корреспондентом лондонской газеты «Морнинг Пост». Он сумел добиться свидания со Столыпиным, а позже и с Витте. В 1906 году он переехал в Петербург, а затем жил в Турции и в 1912 году совершил путешествие вокруг света. Во время Балканской войны он был корреспондентом «Таймс», живал подолгу в Петербурге и писал свои пьесы и книги о России. Одним из последних контактов с семьей Бенкендорфов был перевод Бэринга на английский язык мемуаров брата посла, Павла Константиновича; это было уже в 1930-х годах, и Бэринг говорил, что не мог без слез переводить ту страницу, где было рассказано о вылитом в уборную драгоценном вине.

Заразившись русским гостеприимством и широтой, Бэринг, наезжая из Петербурга в Лондон, где у него был дом, жил широкой светской жизнью, которая была приготовлена для него той обстановкой, в которой он родился и вырос. У отца его была своя яхта, своя охота, лошади его скакали на скачках; семья приглашалась в Ковент-Гарден, в королевскую ложу, и дом их был известен тем, что в нем, одном из первых, провели электричество. Дядя Беринга был комендантом Виндзорского замка (где одно время жил будущий король Эдуард VII); ребенком Морис сидел на коленях у королевы Александры (жены Эдуарда), сестры русской царицы (жены Александра III). А чем занимался старший Бэринг? Он собирал старинные брегеты и раздаривал их своим друзьям. Немудрено, что, живя в Париже, Бэринг-младший был своим человеком у Сары Бернар – она очень любила старинные брегеты.

Через Бенкендорфов Бэринг сблизился с другими русскими семьями аристократов, живших в Европе: Шуваловыми, Волконскими, которые были близки Бенкендорфам через одну из дочерей шефа жандармов, вышедшую замуж за князя П. Г. Волконского, родственника декабриста; с будущим министром иностранных дел С. Д. Сазоновым (умершим в 1920 году в эмиграции) он познакомился в бытность свою в Риме. Барятинские, Урусовы были ему известны по Парижу и по Петербургу. Но самыми близкими Берингу людьми были, конечно, члены русского посольства в Лондоне: сыновья посла, Константин и Петр, Платон Закревский, молодой Иван Александрович Бенкендорф – дальний их родственник, прибалтийский дворянин, происходивший от того же бургомистра города Риги, Иоанна Бенкендорфа (1659–1727), что и они. В третьем поколении род этот был расщеплен на четыре различные ветви четырьмя внуками бургомистра: Христофором, Германом, Георгом и Иоанном. Иван Александрович принадлежал к четвертой ветви. Эти молодые люди только еще начинали свою дипломатическую карьеру, и назывались новым тогда термином «атташе».

Таким образом младшая сестра Закревского встретилась в доме Бэринга со своим будущим мужем и, разумеется, с огромным количеством людей из лондонского высшего света, с дипломатами, писателями, финансовыми магнатами, лордами и леди и знаменитостями, среди которых был и заметивший Муру Герберт Уэллс.

Здесь же, накануне первой войны, ей был представлен молодой английский дипломат Брюс Локкарт, начинавший свою карьеру в новооткрытом английском консульстве в Москве. И с Уэллсом, и с Локкартом Мура встретилась еще

несколько раз у Бэринга и на вечерах у Бенкендорфов. Этот лондонский год сыграл в ее жизни важную роль: в 1911 году она вышла замуж за Ивана Александровича Бенкендорфа, который через год был назначен секретарем русского посольства в Германии. Они переехали в Берлин. Жизнь обещала стать для обоих приятной и беззаботной, и кайзер Вильгельм, которому Мура была представлена на придворном балу, показался ей даже как-то «смешнее», чем Георг V, его британский родственник. «У Вильгельма был юмор», – сказала она однажды задумчиво, вспоминая этот бал в Потсдамском дворце, где она раза два протанцевала с ним.

В Эстонии (которая тогда еще называлась Эстляндией) у Бенкендорфа были родовые земли. Он повез молодую жену в Петербург, потом в Ревель, полный родственников, титулованных и не титулованных. В Берлине его начальником был, как и в Лондоне, балтийский аристократ, престарелый русский посол, граф Н. Д. фон-дер-Остен-Сакен. Но не прошло и двух лет, как и начальству, и секретарям пришлось покинуть Берлин: в августе 1914 года семья принуждена была выехать в Россию.

Первый ребенок, мальчик, родился в 1913 году; Мура теперь была беременна вторым. В Петербурге, где жили Закревские, снята была квартира. Девочка родилась в 1915 году. Мура, пройдя ускоренные курсы сестер милосердия, начала работать в военном госпитале.

Три военных года прошли в заботах о детях; она сама кормила Павла, потом Таню и работала в госпитале, где дамы высшего круга и жены крупных чиновников считали работать своим долгом. Там она встретилась впервые с женской половиной чиновного Петербурга; она вспоминала глупых, чванных, толстых распутинок и их дочерей, бывших институток, какими были когда-то и ее подруги. Но, хотя она никогда не говорила этого, чувствовалось, что эти женщины так называемого ее круга были ей совершенно чужие.

В эти военные годы она вспоминала и Берлин, и Лондон. И эти воспоминания были дороги ей. Незадолго до ее замужества у Бэринга в загородном доме был вечер, ужин был подан в саду, а поздно ночью, уже на разведенном костре, жарили яичницу, выливая яйца на сковородку из цилиндра, и один из английских дипломатов, по случаю дня своего рождения (пятьдесят лет), протанцевал русский танец с неожиданными варьяциями и затем во фраке и белом галстуке прыгнул в бассейн… В Берлине, особенно в последние месяцы, все было чопорно и напряженно, и под конец стало даже страшно, что

непременно что-нибудь да случится, – и оно случилось, предчувствие не обмануло.

В эти военные годы немецкая армия стояла в четырехстах километрах от Петрограда, на реке Аа. Фронт проходил по территории Латвии (в то время Лифляндии), и войска много месяцев стояли под Ригой, пока она в августе 1917 года не была ими взята. Несмотря на это, дачники из Петрограда, вплоть до самой высадки немцев в Эстонии осенью 1917 года, продолжали ездить летом в свои поместья и на берег Финского залива, в места к западу от Нарвы, а те, которые имели земли и усадьбы вокруг Ревеля, уезжали в свои именья.

С начала войны И. А. Бенкендорф, в чине поручика, служил в военной цензуре. Когда наступил 1917 год и Февральская революция, стало ясно, что дипломатического назначения Ивану Александровичу скоро не предвидится, и летом он, Мура, двое детей и гувернантка выехали из столицы, предполагая остаться в имении у себя до поздней осени. Но осенью Иван Александрович возвращение в Петроград отложил, а когда прошел октябрь, выяснилось, что кругом многие из балтийской знати уезжают на юг России, переезжают в Швецию – за большие деньги – или просто скрываются, изменив внешность.

Мура была не согласна оставаться в деревне и, несмотря на уговоры мужа и его родственников, вернулась в Петроград одна, решив спасти квартиру и узнать на месте, можно ли будет продолжать существование в столице с детьми. Сделав десант в ста километрах от Ревеля, немцы подходили все ближе, но она выехала и приехала в Петроград, несколько раз по дороге все еще сомневаясь, не вернуться ли ей обратно. Квартире грозило уплотнение, с продуктами было трудно, и ей предстояло принять решение: оставаться одной в городе или вернуться к семье в деревню. Она колебалась около месяца, а когда решила вернуться – чего в душе ей делать не хотелось, – из Эстонии пришло известие, что перед самым Рождеством мужики из соседней деревни пришли ночью в дом, вызвали хозяина и зверски убили его дрекольем, а потом подожгли дом. Гувернантка Мисси с детьми бежала и укрылась у соседей.

Муру выселили из квартиры очень скоро. Проехать теперь в Ревель было невозможно, вернее – пройти, потому что поезда прекратили ходить еще в октябре, и неизвестно в точности было, где проходит фронт, кто воюет с кем, кто братается с кем и кто продолжает по-прежнему приносить присягу Временному правительству.

Ее рассказ, слышанный мною дважды от нее самой, касался только фактов, никакого эмоционального содержания он не имел. Мура вообще никогда, во всяком случае в те годы, когда я ее знала, не говорила о своих чувствах, ни прошлых, ни настоящих, и никто не рискнул бы ее о них спросить. Ее рассказ о пережитом в связи с событиями в Эстонии носил такой же деловой характер, как все, что она говорила, за исключением тех минут, когда она бывала «кошечкой», готовя собеседника к ответу, который в этих случаях оказывался анти-ответом, потому что был ни да, ни нет.

Благодаря карьере брата и мужа, а также замужеству сестры Анны Мура еще до первой войны была вовлечена в бюрократический круг петербургского общества. Теперь, после революции и убийства мужа, она оказалась в той среде, которой предстояло быть истребленной. Наиболее прозорливые люди этого класса уже зимой 1918 года видели, что ими все потеряно: в каждой семье были пропавшие без вести, сбежавшие неизвестно куда, чтобы выжить или выждать; старые умирали один за другим от наступивших лишений и нравственных потрясений. Русская аристократия, или, иначе говоря – феодальный класс России, в XVIII и XIX веках дававший людей значительных, европейски образованных, энергичных, а иногда и гуманных, теперь пришел к моменту своего разложения. Этот класс оказался, по выражению Э. М. Форстера, бессильным следовать «гуманистической традиции борьбы с жестокостью и хаосом». В последние полвека этот класс соседствовал с буржуазным классом, но не сумел найти себе прочного и достойного места ни в политической, ни в культурной, ни в экономической картине России. Если буржуазный класс успел прожить в стране меньше ста лет, т. е. в трех-четырех поколениях, то феодальный, которому была дана жизнь гораздо более долгая, не нашел сил создать внутри себя элиту. Английских «тори» в России, за малыми исключениями, не было.

Чем была русская аристократия, считавшая себя когда-то, несмотря на все усиливающийся натиск буржуазии, хозяйкой России, в последнее царствование? Это были люди, старавшиеся по возможности сохранить для себя и своего мужского потомства положение в стране, которая, в лице своей интеллигенции (левой, как и правой), жила уже в совершенно ином измерении. Гвардия, дипломатия, чиновничество столицы, все еще сверкая прежним блеском империи, не давали почти ничего стране, от которой они старались, как могли, брать то, что, они считали, им принадлежит по праву, и которой запрещали меняться. Для чего перемены? Кому они нужны? Разве есть место на свете, где живется лучше, чем живется в России? Тысячу лет существовали, и другую тысячу проживем. Каких перемен вам еще надо? Мы не французы, нам

революции не нужны.

Здесь звучит нота квасного патриотизма, открытой ксенофобии и скрытого мессианизма. Инородцев аристократы презирали безнаказанно, весело и открыто, маскируя этим страх перед ними и зависть к ним, намекая отнюдь не тонко, что надо глядеть остро за ними, иначе они погубят Россию: все эти япошки и китаёзы, армяшки, жиды, чухны и хохлы, негритосы и татарва, а также, при случае, колбасники, макаронники и лягушатники. Но были исключения из тех, что выходили из этого класса и сливались с интеллигенцией и с той частью буржуазии, которая со своей стороны вливалась в интеллигенцию. Они уже не называли себя князьями и графами. Где-то в паспорте у них был титул, и лакей в ресторане мог сказать им «ваше сиятельство», но ни Сергей Михайлович Волконский, театральный деятель и критик, писатель и мемуарист, ни Алексей Николаевич Толстой, ни Владимир Александрович Оболенский, член кадетской партии, ни Владимир Владимирович Барятинский, драматург, муж актрисы Яворской, не слышали, чтобы их кто-нибудь из соратников по профессии называл графами и князьями. Их называли по имени и отчеству.

Кстати, два слова о С. М. Волконском и А. Н. Толстом: первый, конечно, считался внуком декабриста, С. Г. Волконского; на самом деле он был внуком его жены, урожденной Марии Раевской (которой посвящена «Полтава») и декабриста Александра Викторовича Поджио, арестованного в декабре 1825 года в один день с кн. С. Г. Волконским и другими (всего около семидесяти пяти человек); вместе со всеми он был приговорен к каторге, сослан в Нерчинск, в рудники, и через полтора года переведен в Читу. В 1839 году они все – Волконские, Поджио и двое детей (сын и дочь) – переселились в Иркутск, где жил старший брат Поджио, Иосиф, который до этого восемь с половиной лет просидел в одиночной камере в Шлиссельбургской крепости. Там они жили вместе до 1856 года, когда были помилованы Александром II. Но и вернувшись в Россию, они не расставались, и старый Поджио сначала ухаживал за больной М. Н. Раевской-Волконской, пока она не скончалась, а затем за ее мужем, его ближайшим другом в течение всей жизни, которого ему также пришлось пережить (Волконский умер в 1866 году). Поджио прожил свои последние годы у дочери, урожденной Волконской, в ее имении Воронки, Черниговской губернии, где и умер у нее на руках. Она похоронила его рядом с могилами С. Г. и М. Н. Волконских. Сын Поджио и Марии Николаевны, Михаил Сергеевич, рожденный в Чите в 1832 году, был отцом Сергея Михайловича Волконского, прожившего долгую жизнь. В эмиграции, когда ему было за семьдесят, он сотрудничал в Париже в русской газете «Последние новости», где его очень

любили и называли за спиной «итальянцем».

Что касается Ал. Ник. Толстого, то он был младшим сыном жены графа Н. А. Толстого и А. А. Бострома, репетитора ее старших сыновей. За Бострома Толстая позже вышла замуж вторым браком и подписывала свои книги для детей А. Бостром. Ал. Н. Толстой родился до того, как был оформлен развод.

Эти люди были русскими интеллигентами и принадлежали к той же «касте», к которой принадлежали интеллигенты-дворяне (Милюков, Дягилев), интеллигенты-мещане (Шаляпин, Горький), дети купцов (Брюсов, Чехов), «кухаркины дети» (Сологуб), «мужики» (Есенин) и дети интеллигентов (Блок, Добужинский). Остальные же, ни по их воспитанию, ни по их образованию, ни по их образу жизни, не были не только интеллигенцией, но даже не были интеллигентными людьми: они были в России необыкновенно темными людьми!

Моему поколению казалось невероятным, что Пушкин мог дружить с графами и князьями, дорожить их мнением и бояться сплетен их жен. Он делился с ними своими замыслами, и они, видимо, понимали его. Нам это казалось совершенно невозможным. Образование давалось этому кругу людей, по традиции, в привилегированных учебных заведениях, большей частью военных, где программы были облегчены и где их обучали военному делу и верности трону, и дорогу они избирали либо военную, либо государственной службы. Справедливо будет сказать: интеллигент мог встретиться (и поговорить о для него интересном) с мужиком, купцом, сидельцем винной лавки, рабочим с Путиловского завода, но с директором департамента министерства внутренних дел, или с командиром гвардейского эскадрона, или с вице-губернатором в нашем столетии интеллигенту говорить было не о чем.

Английских консервативных, высоко образованных тори в России не было. Когда каким-то чудом появлялся русский тори, он становился немедленно русским интеллигентом, он переставал не только быть аристократом, но и быть тори: тори в Англии работают в рамках положенного, они традиционны и консервативны, но они действуют в реальности признанного ими государственного статус-кво, и сами являются частью этого государственного статус-кво. Они столетиями из оппозиции переходят в правительство и из правительства – в оппозицию. Русские тори, когда они чудесным образом появлялись, никогда не оставались на своих высоких позициях: раз почувствовав себя частью русской интеллигенции, они уже никогда на эти позиции не возвращались.

Из высшего класса России за последние два царствования не вышло сколько-нибудь замечательных людей ни в науке, ни в искусстве, ни в политике. Их дурной вкус в современной поэзии, живописи, музыке служил мишенью для насмешек, наивность и нищета их мысли в политике возбуждала раздражение, возмущение и презрение. Исключением был великий князь Николай Михайлович, историк и масон, и граф А. Олсуфьев, один из умнейших и образованнейших русских европейцев. Но они были редки. Интеллигенция тянулась к парламентаризму, либерализму, радикализму, а правые, консерваторы неуклюже, слепо и бессмысленно тянулись к трону. Образованная аристократия? Мы не можем поверить, что ее никогда не существовало, но, как и образованная буржуазия, она не только не окрепла, но постепенно потеряла жизнеспособность и была раздавлена. Оба класса как будто были лишены способности расти и меняться. Темное купеческое царство Островского, с его битьем жен, поркой взрослых сыновей, все еще давало о себе знать даже в XX веке в глухих и не слишком глухих местах страны. А папенькины сынки, происходившие от Рюрика или иных героев русского эпоса, окончив Пажеский корпус или Императорский лицей, сбегали в Париж или на Ривьеру и там в полной ненужности жили, пока не умирали, обзаведясь первыми автомобилями и между скачками и ресторанами заканчивая свои укороченные жизни. На Ниццских и Ментонских кладбищах – Ментона с 1880 до 1914 года была модным местом Ривьеры – стоят их могилы с золочеными русскими крестами и золочеными буквами, вдавленными в мрамор, где Я похоже на латинское R, а вместо твердого знака стоит одна и та же изящная, но совершенно бесполезная шестерка.

Когда пришел февраль 1917 года, аристократия была неорганизована, не умела конструктивно реагировать на свою собственную катастрофу и не знала, ни как защитить себя, ни как принять реальность, ни как включиться в нее. Меньше чем через год она дала себя передушить, не поняв, что, собственно, происходит, никогда не слыхав о различии между голодным бунтом и социальной революцией. На что, собственно, жалуется мужик? Что он, в рабстве? Его ни купить, ни продать больше не дозволено, пусть радуется! А царя трогать нельзя: он наместник Бога. У него от Бога вся полнота власти. На Западе в роковые минуты истории люди соединяются и действуют. В России (не потому ли, что компромисс обидное слово, а терпимость как-то связывается с домами терпимости?) люди разъединяются и бездействуют[11 - У русских аристократов-эмигрантов было во Франции «второе поколение», которое или родилось в изгнании, или было привезено в Европу в раннем возрасте. Среди них большинство полностью приняло Францию и французскую жизнь, многие

воевали в войну 1939–1945 гг., многие женились на француженках и вышли замуж за французов. Среди них были актеры, писатели, художники, ученые, блестящие люди, которые не захотели вернуться в Россию, но ездили туда как французские туристы.].

Петроград зимой 1918 года еще не был пуст и страшен, каким стал к концу лета. Было много голодных людей, вооруженных людей и старых людей в лохмотьях. Молодые щеголяли в кожаных куртках, женщины теперь все носили платки, мужчины – фуражки и кепки, шляпы исчезли: они всегда были общепонятным российским символом барства и праздности и, значит, теперь могли в любую минуту стать мишенью для маузера. Огромные особняки на островах и старые роскошные квартиры на левом берегу Невы были реквизированы или стояли пустыми и ждали, загаженные нечистотами, какая им выпадет судьба. И на улицах в толпе Мура не различала ни одного ей знакомого лица; в эти первые дни после известия о смерти Бенкендорфа ей казалось, что во всей столице могло быть только одно-единственное место, где ее помнят, любят, где ее утешат и обласкают: этим единственным местом было английское посольство[12 - Несмотря на то что Мура рассказывала о своей юности в доме отца, в Петербурге, выстроенном в стиле рококо, в Адресной книге С.-Петербурга адрес Закревских указан в доме графини Екатерины Леонидовны Игнатьевой, Фонтанка, дом 52, между Графским и Щербаковым переулками.].

У нее не было при себе ни денег, ни драгоценностей, сестры были на юге России, брат за границей. В ее бывшую квартиру поместился Комитет бедноты, и ей пришлось оттуда выехать. Были подруги, но их Мура не нашла, как не нашла и тех знакомых, с которыми работала три года в военном госпитале, – врач был расстрелян, распутники разбежались. Она нашла сослуживца покойного мужа, В. В. Ионина, высокого, худого секретаря русского посольства в Берлине, отрастившего бороду, чтобы не быть узнанным, молодого камер-юнкера и коллежского советника, и случайно встретила на Морской Александра Александровича Мосолова, начальника канцелярии министерства Двора и Уделов, генерал-лейтенанта (позже – автора воспоминаний), одного из тех, кто ей всегда казался умнее других, а она любила умных. Где-то в Павловске жила родственница зятя, Кочубея, но Мура не помнила ее адреса. Все эти люди ничем не могли ей помочь.

В английском посольстве в Петрограде (Дворцовая набережная, дом 4) с декабря 1917 года происходили, под влиянием российских событий, большие перемены: перестройка всей внутренней структуры этого учреждения и полный поворот

отношений с новыми хозяевами страны. Секретарей перетасовали, двух консулов отправили домой, в Англию; атташе сидели без дела и ждали решения своей судьбы. Россия была накануне подписания Брестского мира, и сэр Джордж Бьюкенен, посол Англии и друг министров Временного правительства, собирался после Нового года отбыть с женой и дочерью в Лондон.

Английское посольство в Петербурге с начала этого столетия держало на службе людей преимущественно молодых, но также и среднего возраста, которые работали на секретной службе, будучи по основной профессии – литераторами. Урок Крымской войны для Англии не пропал даром: тогда было замечено, что о России слишком мало было известно правительству ее величества королевы Виктории, и решено было значительно усилить деятельность разведки. Еще до войны в Петербурге, при Бьюкенене, перебывали в различное время и Комптон Маккензи, и Голсуорси, и Арнольд Беннетт, и Уэллс, и Честертон, чьим романом «Человек, который был Четвергом» зачитывались два поколения русских читателей. Позже был прислан из Англии Уолпол, подружившийся с К. А. Сомовым. Через Сомова и русского грека М. Ликиардопуло, переводчика Оскара Уайльда, Уолпол еще в 1914–1915 годах стал вхож в русские литературные круги, был знаком с Мережковским, Сологубом, Глазуновым, Скрябиным, хорошо знал язык и писал романы на русские темы, одно время бывшие в Англии в большой моде. С ним вместе, часто на короткие сроки, приезжал Сомерсет Моэм, молодой, но уже знаменитый ко времени первой войны, и почти бессменно проживал в Петрограде Бэринг. Короткое время в столице находились также Лоуренс Аравийский и – позже – совсем юный Грэм Грин. Но сейчас никого из них там не было, и только Гарольд Вильямс, корреспондент лондонской «Таймс», женатый на русской журналистке А. В. Тырковой, человек прекрасно осведомленный в русских делах, писал свои корреспонденции, которые все труднее делалось ему отсылать в Лондон.

Поразительно было не только количество английских литераторов, работавших в разведке, но и задачи, которые им задавались. «Наши профессиональные эксперты секретной службы мобилизовались по большей части из рядов беллетристов, уже имевших некоторый успех, – писал позже Моэм. – Мне была вручена огромная сумма денег, наполовину английских, наполовину американских, – говорил он в старости своему племяннику, – я должен был помогать меньшевикам в покупке оружия и подкупать печать, чтобы держать Россию в войне… Меня послали в Петроград потому, что они считали, что я могу остановить большевистскую революцию… Я говорил им, что я не гожусь для такого дела, но они мне не верили. Мне помогло то, что я приехал в Россию писать – корреспондентом „Дейли Телеграф“. Задача, мне порученная, не

удалась. Мое дело было остановить революцию, на мне лежала большая ответственность. Если бы они знали меня лучше, они бы не послали меня. У меня не было опыта. Не знал, с чего мне начинать…»

А присланный в начале 1918 года специальный британский агент Роберт Брюс Локкарт получил при своем назначении поручение: «Сделать все, что возможно, чтобы помешать России заключить сепаратный мир с Германией».

Ни Моэма, ни Бэринга Мура в посольстве не нашла. Ее принял капитан Джордж Хилл и Мэриэль, дочь посла, ее лондонская подруга. Она обещала зайти еще раз, и стала приходить все чаще, но адреса им не дала, да у нее и не было настоящего адреса: она ночевала у старого повара Закревских. Ей все были рады. Прошло Рождество и Новый год. И в понедельник 7 января Бьюкенены и одиннадцать человек из штата английского посольства в Петрограде тронулись в путь на север. Генерал Альфред Нокс в своих воспоминаниях пишет: «Русских провожающих не было. Только одна русская пришла на вокзал: это была г-жа Б». Возможно, что это была Мура и Нокс не назвал ее потому, что, когда писались его мемуары, в 1920 году, Мура была еще в России.

Но кто был Локкарт? Он родился в 1887 году и был назван Робертом Брюсом в честь легендарного героя, шотландского короля (1306–1329), основателя династии Стюартов. Сын крупного шотландского землевладельца, он провел счастливое детство в семье, верной шотландским традициям. Несколько лет после окончания учения он колебался в выборе профессии, ездил в Германию и Париж и даже уехал на время в Малайю. В 1911 году он внезапно решил держать конкурсный экзамен в министерство иностранных дел. К удивлению своему, своих родителей и знакомых, он его выдержал. Ему предложили поехать вице-консулом в Москву, до этого в Москве не было консульства, и правительство Великобритании в последние годы пришло к заключению, что необходимо расширить связь со страной, с которой недавно было подписано тройственное (вместе с Францией) согласие. Сэр Эдуард Грей, министр иностранных дел, счел нужным открыть в Москве консульство, как некий филиал английского посольства в Петербурге.

Сэр Эдвард был известен той ролью, которую он сыграл в укреплении дружеских отношений держав Согласия (России, Франции и Англии), и участием в мирной конференции 1913 года для урегулирования балканских дел. Правительство Англии, предвидя возможную войну с Германией, приняло в эти годы решение расширить и усовершенствовать действия своей секретной службы, которая в

войну 1855 года была в зачаточном состоянии. Старая тактика англичан XVIII века, когда они действовали в России исключительно взятками и подкупом, сейчас считалась полностью устаревшей. Аппарата соответственного у них тогда не было никакого, и имеется свидетельство о том, что Екатерине II, в бытность ее принцессой, англичане регулярно преподносили всевозможные подарки. Молодая жена наследника русского престола – как выразился историк британской дипломатии – «усердно работала на нас».

Но эти времена прошли. Аппарат осведомления был с 1914 года налажен. Однако со дня Октябрьской революции большевики, как англичане начали догадываться, представляли угрозу этому аппарату. Между тем события требовали особой бдительности: между Троцким и немецким Генеральным штабом начались мирные переговоры.

Впервые приехав в 1912 году в Россию, Локкарт вовсе не знал страны; русские, с которыми он встречался в Лондоне (в Шотландии русских никогда не видели), говорили, даже между собой, по-английски; языка русского он никогда не слыхал. Он знал романсы Чайковского, читал (и любил) «Войну и мир», слышал Шаляпина в «Борисе Годунове». Он решил принять предложение Грея после того, как Морис Бэринг взял его, что называется, за пуговицу и рассказал ему о Сосновке, о петербургском свете и о Маньчжурии. В январе 1912 года Локкарт уехал на свое новое место. Ему было тогда двадцать пять лет. Место казалось ему и всем, кто его знал, обещающим в будущем успешную карьеру дипломата. Но хотел ли он быть дипломатом? Этого он сам еще не знал.

Приехав тогда в Петербург, он почти тотчас же был направлен в Москву; члены английского посольства в столице, во главе с сэром Джорджем Бьюкененом, не успели внимательно присмотреться к нему. В нем самой яркой чертой была его беззаботность, его непосредственность; он был веселый, общительный и умный человек, без чопорности, с теплыми чувствами товарищества, с легким налетом легкомыслия, иронии и открытого, никому не обидного честолюбия.

В Москве, когда он приехал, он застал гостившую там английскую парламентскую делегацию лордов и генералов, не меньше восьмидесяти человек. В должности переводчика у них состоял его старый знакомый, неизменный Бэринг, который очень ему обрадовался. Локкарта через него стали приглашать в богатые дома именитого московского купечества, возить в рестораны и в «Стрельну», научили пить шампанское с подношением «чарочки» и есть ледяную икру на горячем калаче. Он ходил в кинематограф, увлекался

Верой Холодной, открывал для себя Чехова, завел себе бобровую шапку и шубу с бобровым воротником и стал ездить на лихачах.

Очень скоро он обзавелся друзьями, влюбился в молодую русскую женщину, стал играть летом в теннис и зимой кататься на коньках на Патриарших прудах. Через нее он перезнакомился с актрисами и актерами Художественного театра, ужинал не раз с Алексеем Н. Толстым в «Праге» и бывал гостем в Литературно-художественном кружке. Будучи веселого нрава, он тем не менее прекрасно умел вести себя, как подобает серьезному человеку, с людьми и высокого, и низкого звания и полностью соблюдал традиционную сдержанность британского обращения с равными себе. Он полюбил ночные выезды на тройках, ночные рестораны с цыганами, балет, Художественный театр, обеды в особняках на Поварской и интимные вечеринки в тихих переулках Арбата. Все, решительно все доставляло ему такое наслаждение, что он чувствовал себя в эти годы совершенно счастливым человеком.

В первый же год своего пребывания в Москве он несколько раз встречался с приехавшим тогда в Россию Гербертом Джорджем Уэллсом, а в следующем году он познакомился и с М. Горьким. В это время Локкарт уже лично знал Станиславского, директора «Летучей мыши» Н. Ф. Балиева, городского голову Москвы Челнокова и многих других известных людей. Его всюду приглашали, угощали и ласкали; светские дамы учили его русскому языку и возили его в свои загородные дома, похожие на дворцы.

Русскому языку он выучился скорее других, он был способен к языкам; в нем находили огромное очарование молодости и здоровья. Он был выше среднего роста, блондин, чуть плотнее, может быть, чем средний британец его возраста. Но спортом занимался он серьезно и настал день, когда он присоединился к футбольной команде при фабрике текстильщиков братьев Морозовых («Саввы Морозова сыновья»): морозовцы, с его участием, одержали победу, и команда вышла на первое место. Это доставило ему необыкновенное удовольствие.

В этом счастливом 1913 году он уехал в Англию в отпуск, и в надежде остепениться и примкнуть к своему классу людей, к которому его готовила судьба, женился там на молодой австралийке, Джейн Тернер, и привез ее с собой обратно в Москву. И действительно, он начал серьезно работать, и так успешно, что из вице-консулов вышел в генеральные консулы – это место впоследствии было закреплено за ним «до окончания войны».

Во вторую зиму жена его едва не умерла от родов, и ребенок родился мертвым. Локкарт тяжело пережил это, но рана залечилась. Началась война. Дел оказалось по горло: он уже имел у себя в консульстве небольшой штат, и пришлось переехать в более приличное помещение – казначейство в Лондоне отпустило кредиты, видя, что московское консульство, ввиду войны, неожиданно приобретает довольно серьезное значение.

В природе Локкарта была способность работать лихорадочно и продуктивно довольно долгий период, после чего наступал период апатии, лени, бездействия. То же было и в области личных переживаний: он мог некоторое время жить аскетом, после чего недели на две вырывался в беспорядочный период ночных развлечений, необузданных страстей, с которыми и не пытался совладать. Эти буйные периоды обычно совпадали с любимыми им снежными и звездными морозными ночами, русским Рождеством или русской Масленицей.

В консульстве были люди секретной службы, подчиненные ему. Он регулярно посылал Бьюкенену рапорты в Петербург, а тот уже отсылал их Грею в Лондон, а потом, после 1916 года, Ллойд Джорджу. «Я поставлял им информацию, которая, если она была верна, вероятно, представляла для них известную ценность», – говорил он впоследствии, пользуясь типично британским методом литоты. В это же время приблизительно он начал свою (анонимную) журналистскую деятельность: дипломатам Англии не разрешалось писать и печататься за собственной подписью в газетах (если это не были романы и стихи). Это ему нисколько не мешало. Он посылал в «Морнинг Пост» и «Манчестер Гардиан» свои корреспонденции о России, гонорары помогали ему сводить концы с концами: он любил тратить широко и всегда был в долгах. По его теории выходило, что, обедая шесть раз в неделю вне дома и знакомясь с людьми самыми разнообразными, больше добываешь информации, и в московских салонах ему нравилось, что люди были смешаны, чего в Петербурге быть не могло: там аристократы жили замкнутым кругом, чиновники водились с чиновниками и крупные банкиры с крупными банкирами. В Москве же в одной гостиной можно было встретить дочь анархиста Кропоткина и графиню Клейнмихель.

Дома у Локкарта теперь был большой порядок, но жена его, исполняя все свои обязанности жены дипломата, не была счастлива: она винила себя в смерти ребенка, в том, что не настояла на отъезде в Англию для родов, и кляла русских докторов, и прислугу, не понимавшую по-английски, и неудобную тесную квартиру, и русский климат, и то, что шесть раз в неделю нужно было выезжать

вечером, и даже собачка (которую обессмертил Коровин, написав ее портрет) не могла утешить ее. Во время второй беременности она выехала обратно в Англию, и на этом, как можно предположить из намеков в воспоминаниях Локкарта, закончилась его семейная жизнь.

Он теперь сознавал, что Россия ему стала чем-то привычнее и милее, чем Англия, что в Лондоне, если ему суждено будет вернуться, ему будет скучно, потому что там как-то никогда ничего не случается, а здесь, в Москве, каждый день непременно что-то происходит. Впрочем, в это время и там, и здесь, и еще во многих местах мира такая росла тревога, такие шли события и так волновал всех фронт, что люди жили от утренних газет до вечерних.

На третий год войны он, со всем своим легкомыслием и появившейся в нем постепенно самоуверенностью, совмещавшейся с нажитым в России гедонизмом, вдруг почувствовал, что в русском воздухе появилось что-то новое, что-то глубоко тревожное и очень серьезное. Что люди чего-то ждут, и в телеграммах с фронта, и в новостях, доходящих до дипломатического корпуса из «сфер» (в Москву, конечно, с опозданием), что-то начинает слышаться зловещее, страшное, неотвратимое, и, может быть, не для одной России. В это время окрепла его дружба с теми, кто был приписан к «бюро британской пропаганды» в Петрограде и Москве. Среди корреспондентов был уже упомянутый Гарольд Вильямс, писавший для лондонской «Таймс», «великий эксперт по России и самый из всех скромный мой учитель и покровитель», – как писал о нем позже Локкарт; его лондонский знакомый, модный писатель Уолпол, с которым он сблизился в эти годы на всю жизнь. Это был теперь забытый романист, среди многочисленных книг которого есть два «русских» романа. Уолпол был молод, элегантен, красив и с энтузиазмом пошел работать санитаром на русском фронте. С первого своего появления в столице он стал близким другом художника «Мира искусств» К. А. Сомова, которому и посвятил одну из своих «русских» книг. Уже в первый год войны, когда он был в большой славе, он говорил, что никогда не уедет из России, навсегда останется здесь, что Россия выиграет войну и что он, Уолпол, никогда не оставит Петербурга. Он был вместе с Локкартом в тот вечер, когда тот был представлен Горькому, – это случилось в «Летучей мыши» Балиева, где Локкарт имел свой столик.

Генеральный консул теперь правил в Москве, стараясь не упустить ни сплетен, ни серьезных донесений, касающихся политики и всего того, что вокруг политики; он аккуратно получал официальную информацию от секретарей Бьюкенена и отсылал ему свою. У него появились друзья среди крупных людей:

уже упомянутый Челноков («мой лучший друг»), Николай Иванович Гучков (брат Александра, члена Думы, председателя Красного креста), актрисы и великие князья, железнодорожные магнаты; а когда он бывал в Петрограде – так называемый высший свет принимал его и баловал его. Ему однажды пришлось встретиться с великим князем Михаилом Александровичем, братом царя. Теперь он не прочь бывал и похвастать своими знакомствами. О нем говорили, что он умен и забавен, мил и остроумен и всегда ровно весел, и он отвечал, что все это потому, что он живет сейчас счастливейшие годы своей жизни.

Февральская революция пришла в Петроград, и через несколько дней вся Москва была охвачена ею. Английское посольство в Петрограде, репортеры английских газет и служащие московского консульства, а с ними и сам консул вдруг с утра до глубокой ночи стали лихорадочно делать одно и то же дело, одни – там, другие – здесь: охотиться за новостями, метаться по городу, сидеть у телеграфа, у телефона и посылать донесения Ллойд Джорджу, пока наконец Локкарт не вырвался в Петроград самолично, не увидел Керенского, Милюкова, Савинкова, Чернова, Маклакова, кн. Львова. С ними со всеми его свел Челноков.

Летние месяцы 1917 года пролетели; между Москвой и Петроградом он проводил теперь ночи в вагонах скорых поездов, большей частью носясь между своим кабинетом в Москве и палатами посольства в Петрограде. От весны до начала осени в новую Россию приезжали многочисленные делегации союзных стран: Локкарт служил им и гидом, и переводчиком. Это были вожди британских профсоюзов, французские социалисты («самым ярым врагом большевистской партии был среди них Марсель Кашен»), по пятам за ними – члены английской рабочей партии во главе с их лидером Гендерсоном. В этом угаре появилась у него молодая подруга, случайно встреченная в театре красавица-еврейка, о которой немедленно узнали все, как это бывает в таких случаях, когда люди ловят новости и вдруг в их сеть попадает что-то постороннее, не имеющее прямого отношения к искомому, но оно оказывается тоже очень важным и интересным. Настолько интересным, что о новости этой докладывают Бьюкенену, и Бьюкенен вызывает к себе Локкарта и ведет его в посольский сад на прогулку.

Он говорит Локкарту, что молодому дипломату пора съездить на время домой: до его жены дошли слухи, что он завел себе в Москве подругу. Решение посла обсуждению не подлежит, и консул уезжает, едва успев (а может быть, и не успев) проститься с подругой. Он едет через Швецию и Норвегию, по Северному морю, минированному немцами. И только когда он ступает на английскую

землю, он узнает из телеграмм о деле Корнилова.

Сначала он две недели отдыхает в Шотландии. Потом в Лондоне его рвут на части, но он обороняется от друзей и родственников, от своей бабушки, которой он немножко боится, от коллег в Форин Оффис, от русских знакомых еще прежних времен и, конечно, очень мало сидит дома с женой и маленьким сыном. Члены правительства требуют его докладов, члены парламента угощают его завтраками, и он официально и неофициально докладывает им. Два месяца промелькнули, и вести из России потрясают мир, а с ним и Локкарта; те, кого он так хорошо знал, с кем проводил столько времени, изгнаны из Зимнего дворца, и Смольный теперь – центр столицы. 20 декабря он приглашен высказать свое мнение о русских событиях в Форин Оффис: его слушают его старый покровитель лорд Милнер, Смэтс, Керзон, Сесил, и на следующий день Ллойд Джордж приглашает его для беседы с глазу на глаз и дает ему двухчасовую аудиенцию.

Все эти месяцы он усиленно пишет в газетах (без подписи), дает интервью по русским вопросам, думает о своем возможном устройстве в Форин Оффис. В середине декабря обсуждается на верхах возвращение его в Москву, особенно поддерживает этот план лорд Милнер: Локкарт пропустил не только мятеж Корнилова, он пропустил Октябрьскую революцию! Рождество он проводит с отцом и матерью, ожидая каждую минуту решения своей судьбы.

Ллойд Джордж согласен, и другие не возражают: он умен, он владеет русским языком, он наблюдателен, он умеет завязывать связи, он жизнерадостен, остроумен, у него завелись друзья повсюду. Но премьер-министр дает ему серьезное поручение, он надеется, что Локкарт, несмотря на молодость, выполнит его: поручение заключается в том, чтобы ни в коем случае не дать России заключить с Германией сепаратный мир.

14 января он садится на пароход, английский крейсер, идущий в Берген. За месяц до этого большевиками и немцами было подписано перемирие, а 22 декабря в Брест-Литовске открылась первая пленарная сессия мирной конференции. Время было горячее.

Мог ли он думать, уезжая, что в день, когда он вернется в Москву, через четыре с лишним месяца, он вернется в другую Москву, другую Россию? Октябрь 1917 года все перевернул, все раскидал: Локкарт приезжает теперь как «специальный агент», ни консулов, ни послов в старом смысле слова больше не

существует. Он приезжает как специальный агент, как осведомитель, как глава особой миссии, чтобы установить неофициальные отношения с большевиками. Московский консул Бейли, который его заменял, уже уехал. Его посольство готово вот-вот уехать в Вологду и надеется погрузиться в Архангельске, чтобы вернуться домой. Английское правительство не признаёт правительства русского, но обеим сторонам необходимо наладить хоть какие-то, пусть неофициальные, сношения. В Лондоне М. М. Литвинов, тоже специальный агент, уже называет себя послом, – но на самом деле он такой же, как Локкарт, «неофициальный канал для взаимного осведомления».

Литвинов действительно был в это время (январь 1918 года) русским представителем в Англии. Во Франции в это время не было никого: она даже Каменева не пустила, когда он ехал туда в надежде как-то зацепиться и остаться торговым представителем. Литвинов, живший долгие годы до революции в Лондоне, был женат на англичанке, Айви Лоу, племяннице известного английского политического писателя Сиднея Д. Лоу, позже получившего от английского короля личное дворянство. Лоу был автором многих книг, среди них «Словарь английской истории». Его племянница была далеко не заурядной женщиной.

Локкарт познакомился с Литвиновым перед своим отъездом в Россию в Лондоне, где Рекс Липер, в то время работавший в политическом отделе Форин Оффис и считавшийся экспертом по российским делам, устроил завтрак в популярном ресторане Лайонса; Литвинов был его учителем русского языка. «Большевистский комиссар с неофициальными дипломатическими привилегиями» по собственной инициативе дал Локкарту личное письмо к Троцкому, и это дало британскому агенту уверенность, что и в новой России, как и в старой, он не пропадет.

В Петрограде не только не было больше Бьюкенена, но даже его заменивший Фрэнсис Линдли был невидим, и весь штат посольства был готов к выезду. Оставался один человек из десяти, главным образом для осведомительной роли, и два шифровальщика телеграмм. Сэр Джордж Бьюкенен, английский посол в Петербурге с 1910 года, старый опытный дипломат и верный друг Временного правительства, выехал домой в Англию, почувствовав со дня Октябрьской революции, что он стар, болен и никому не нужен, и возвращения его в Россию не предвиделось. Его место оставалось незанятым; Англия до сих пор большевиков не признавала и, видимо, признавать в ближайшее время не собиралась: бывшая союзница Антанты, Россия, находилась накануне

заключения сепаратного мира с врагом. Сэр Джордж уехал с женой и дочерью, с которой Мура дружила в Лондоне перед войной. Теперь в огромном доме посольства на набережной Невы появились новые люди, и Локкарту было дано всего несколько недель, чтобы успеть ознакомиться с положением дел.

Локкарту шел тридцать второй год. Мура уже вторую неделю приходила в посольство после приемных часов. Она нашла там трех друзей, которых встречала на вечерах у Бэринга и Бенкендорфов в год своего замужества, одним из них был капитан Кроми. Локкарта она увидела на третий день после его приезда, она сейчас же узнала его, но теперь у него был весьма деловой вид: в день его приезда, 30 января, ему было объявлено, что штат посольства снимается из Петрограда, что багаж посольства уже отправлен в Вологду и что он остается в России старшим в своей должности. От сослуживцев он узнал, что и в других союзных посольствах и миссиях картина была та же: все сидели как на угольях. Оставаться больше было невозможно: не сегодня завтра в Брест-Литовске может быть подписан мир.

Вот что писал Локкарт о своей встрече с Мурой в тот самый день, когда они встретились (дневник он начал вести еще в 1915 году):

Сегодня я в первый раз увидел Муру. Она зашла в посольство. Она старая знакомая Хилла и Герстина и частая гостья в нашей квартире. Ей двадцать шесть лет… Руссейшая из русских, к мелочам жизни она относится с пренебрежением и со стойкостью, которая есть доказательство полного отсутствия всякого страха.

И несколько позже:

Ее жизнеспособность, быть может, связанная с ее железным здоровьем, была невероятна и заражала всех, с кем она общалась. Ее жизнь, ее мир были там, где были люди, ей дорогие, и ее жизненная философия сделала ее хозяйкой своей собственной судьбы. Она была аристократкой. Она могла бы быть и коммунисткой. Она никогда бы не могла быть мещанкой. В эти первые дни наших встреч в Петербурге я был слишком занят и озабочен своей собственной персоной, чтобы уделить ей больше внимания. Я видел в ней женщину большого

очарования, чей разговор мог озарить мой день.

Кроме Хилла и Герстина и трех человек, которых Локкарт привез с собой из Англии, в посольстве находился морской атташе, капитан Кроми, также Мурин приятель по Лондону, и она устроила молодым дипломатам завтрак в день рождения Кроми, – к себе пригласить их она, разумеется, не могла, и завтрак был устроен у них на квартире. Это было на Масленице, и они ели блины с икрой и пили водку. Локкарт каждому гостю сочинил небольшое юмористическое рифмованное приветствие, а Кроми произнес комический спич. Они много смеялись и пили за здоровье Муры. Для них этот завтрак оказался последним веселым сборищем в России: Герстина убила русская пуля под Архангельском в дни английской интервенции, Хикс умер от туберкулеза в 1930 году, Кроми погиб спустя пять месяцев в английском посольстве в Петрограде, защищая здание с оружием в руках от ворвавшихся красноармейцев. Локкарт один дожил до глубокой старости: он умер в 1970 году.

Приехав в последние дни января в Петроград, он сейчас же оценивает тревожное положение в дипломатических кругах: нейтральные держатся вместе и выжидают; союзники, справедливо считая, что, несмотря на трудности в переговорах с немцами, мир России с Германией будет подписан, страстно обсуждают свой коллективный отъезд и жгут бумаги. Судьба их все еще не решена: правительство решило перенести столицу в Москву, скоро начнет переезжать из Смольного в Кремль, и, разумеется, нейтральным представительствам придется ехать туда за ним. В среде их нет единодушия. Что касается союзников, то кое-кого охватывает беспокойство, что они не успеют оставить пределы России, прежде чем германские представители – т. е. генералы враждебной армии – появятся в Петрограде и Москве. Кроме того, быстрое продвижение германской армии по всему фронту – от Украины до Прибалтики (и занятие ими части Финляндии) – волнует их. Двинск взят, Псков находится под угрозой, падение Петрограда кажется если не неминуемым, то весьма вероятным. А некоторые дипломаты (как, впрочем, кое-кто и из наркомов) считают, что угроза есть и Москве, и называют Нижний Новгород этапом эвакуации большевистского правительства.

После долгих переговоров со Смольным и сношений с Лондоном, Парижем, Вашингтоном, Римом и Токио 25 февраля было наконец решено выехать через Вологду и Архангельск. На следующий день снялись американцы, японцы, китайцы, испанцы и бразильцы, а 28-го уехали англичане и французы, греки, сербы, бельгийцы, итальянцы и португальцы. Кроме того, англичане увозили с

собой около шестидесяти человек петербургской и московской английской колонии. Уезжающим, по распоряжению совнаркома, был подан специальный поезд; они должны были жить в Вологде в вагонах и ждать переправки в Архангельск, где их заберут английские крейсера.

Третий секретарь французского посольства де Робьен описал картину прощания молодых союзных дипломатов, уезжавших в Вологду, со своими русскими знакомыми: на платформе возле спального вагона все были в слезах: «Княжна Урусова стояла рядом с Жанти, Карсавина [Тамара] – подле Бенджи Брюса, графиня Бенкендорф [Мура] рядом с Кунардом, графиня Ностиц – с Лалэнгом…» К тому надо добавить, что Бенджи Брюс позже вернулся за Т. П. Карсавиной в Петроград и вывез ее в Англию: они были счастливо женаты с 1915 года. С ней вместе он вывез и Женю Шелепину, секретаршу Троцкого. На ней впоследствии женился Артур Рэнсом, писатель и биограф Оскара Уайльда; а племянница Челнокова, Люба Малинина, спешно вышедшая замуж за капитана Хикса перед его высылкой из России, выехала с ним вместе в сентябре 1918 года, о чем будет рассказано в свое время[13 - Четвертый брак в этой серии был брак балерины Л. Лопуховой с известным английским экономистом Кейнсом, но это случилось позднее, в Лондоне, в 1925 г.].

Проехав границу, в Белоострове поезд был задержан. Финляндия была охвачена гражданской войной: белые финны с помощью белых русских гнали красных финнов на север. Немцы методически оккупировали прибрежные финские местечки, переходя на военных кораблях Финский залив из Прибалтики, которая была в их руках. Месяц задержки грозил иностранным дипломатам немецким пленом, и только после мучительных дней и сложных переговоров им удалось наконец проехать через Сортавалу и Петрозаводск на линию Тихвин – Череповец и в конце марта оказаться в Вологде. Эти затруднения коснулись только тех, кто стремился выехать на запад, т. е. на Хапаранду, – это были англичане, французы, а также представители некоторых более мелких легаций, которые во что бы то ни стало решили выбраться из пределов России. Американцы же, хотевшие остаться в России как можно дольше, а также японцы, китайцы и сиамцы выехали из Петрограда прямо на восток и, обогнув с юга Ладожское озеро, благополучно попали на ту же Тихвино-Череповецкую ветку.

В английском посольстве теперь оставалось не более одной десятой штата, и Локкарт, после отъезда Линдли в Вологду – он уехал последним и считался, будучи поверенным в делах, заместителем Бьюкенена, – остался начальником всего отдела. Из тех трех, что он привез с собой, он был ближе всех с капитаном

Хиксом, назначенным теперь военным атташе (несмотря на то что посольства не существовало). Вместе с Хиксом они сняли квартиру тут же на набережной, с видом на Неву и Петропавловскую крепость. По утрам он не мог оторвать глаз от этого вида, который снился ему в Лондоне много раз. И он любил свои высокие окна, смотрящие на облачное северное небо.

Очень скоро отношения между Мурой и Локкартом приняли совершенно особый характер: оба страстно влюбились друг в друга, видя, она в нем – все, чего лишила ее жизнь, он в ней – олицетворение страны, которую он полюбил, в которой он теперь делал карьеру и с которой чувствовал, особенно в этот свой приезд, глубокую связь. Для обоих началось неожиданное и недозволенное счастье, в которое они вместе, с внезапной силой, упали из страшной, жестокой, голодной и холодной действительности. Оба стали друг для друга центром всей жизни.

Кругом теперь были – кроме еще оставшихся в России английских, французских и американских друзей – и русские друзья: в Москве – семья Эртель, вдова Александра Эртеля, писателя и друга Льва Толстого, умершего еще в 1908 году, ее дочери, из которых одна, Вера, была подругой и помощницей Констанции Гарнетт, известной переводчицы на английский русских классиков, другая – Наталия, впоследствии по мужу Даддингтон, автор книги о Бальмонте и переводчица его стихов. Вдова Эртеля давала уроки русского языка членам английского посольства, среди них был и Уолпол, и Локкарт, и даже одно время сам фельдмаршал, генерал Уэйвелл, в бытность свою в Москве. Тут был и М. Ликиардопуло, работавший в Художественном театре, знавший весь театральный и литературный мир, друг Брюсова, Вяч. Иванова и Ходасевича. В Петрограде люди, связанные с Февральской революцией, исчезли с горизонта, но у Локкарта появились там новые знакомые – герои Октября: Троцкий; Карахан, заместитель наркоминдела и член Коллегии иностранных дел; Чичерин, «человек хорошей семьи и высокой культуры», говорил Локкарт, расходясь в этой оценке наркоминдела с Карлом Радеком, который называл Чичерина «старой бабой», а Карахана – «ослом классической красоты». Он познакомился с Петерсом, правой рукой Дзержинского в ВЧК, позже – с Зиновьевым. В ту весну переезд правительства из Петрограда в Москву длился несколько месяцев, и Локкарту приходилось быть между Смольным и Кремлем. И тут, и там у него были квартиры.

В первый раз он выехал в Москву 16 марта, в личном вагоне Троцкого, который относился к нему как к полномочному представителю Великобритании и ввел

его в Кремль. Локкарт позже писал:

При различной мере близости я постепенно перезнакомился почти со всеми лидерами: от Ленина и Троцкого до Дзержинского и Петерса. У меня специальный пропуск в Смольный. Не раз я бывал на заседаниях Исполнительного комитета в Москве, в главной зале отеля «Метрополь», где в дни царского режима я развлекался совсем другого рода встречами. Из Петрограда в Москву я ездил в поезде Троцкого и обедал с ним.

А в это время германская армия, не встречая сопротивления, медленно двигалась в глубь юга России. Переговоры всё продолжались. И Троцкий, по словам Локкарта, был откровенен с ним. Однажды, в те же недели, он нашел наркомвоена в особенно нервном состоянии: дальневосточные новости были тревожны. «Если Владивосток будет занят японцами, – сказал Троцкий, – Россия целиком бросится в объятия Германии».

«Моя ежедневная работа, – продолжает Локкарт, – была с Троцким и Чичериным, с Караханом и Радеком. Три последних составили некий триумвират, управлявший комиссариатом иностранных дел после того, как Троцкий стал наркомвоеном [и председателем Верховного военного совета, в то время как Чичерин стал наркоминделом, а Карахан – его заместителем]».

Еще в феврале Локкарт получил для себя и для двух своих сотрудников свидетельство, подписанное Троцким:

Прошу все организации, Советы и Комиссаров вокзалов оказывать всяческое содействие членам Английской Миссии, госп. Р. Б. Локкарту, У. Л. Хиксу и Д. Герстину.

Комиссар по иностранным делам

Л. Троцкий.

П.С. Личные продовольственные запасы не подвергать реквизиции.

Эта бумажка открывала ему многие двери, и для него стало ясно, что настоящее его место в Москве. Он немедленно дал знать Хиксу, чтобы он приехал к нему, чтобы устроить и консульство, и жилище в новой столице. 3 марта был в Бресте подписан мир, и Локкарт увидел, что его жизнь и работа теперь будут тесно связаны с Москвой. Хикс приехал немедленно, они без труда нашли помещение, наняли кухарку и объявили «консульство» открытым. Старый термин, впрочем, не годился. Его кабинет и приемная оставались без официального имени. Позже он писал в своих воспоминаниях:

С момента расставания в Петрограде в начале марта мне ее [Муры] не доставало больше, чем я готов был признаться себе самому. Мы писали друг другу часто, и ее письма сделались для меня ежедневной необходимостью. В апреле она приехала в Москву и поселилась у нас. Она приехала в 10 утра. Я был занят моими посетителями до без десяти минут час. Я сошел вниз, в гостиную, где мы обычно завтракали и обедали. Она стояла у стола, и весеннее солнце освещало ее волосы. Когда я подходил к ней, я боялся, что мой голос выдаст меня. Что-то вошло в мою жизнь, что было сильней, чем сама жизнь. С той минуты она уже не покидала нас, пока нас не разлучила военная сила большевиков.

Таким образом, в непризнанной Англией большевистской России Локкарт оказался, с четырьмя сотрудниками и канцелярией, человеком без официальною статуса, без дипломатического иммунитета, но с огромными связями исключительно благодаря личным качествам, обаянию, уму и юмору. В свое время, т. е. ровно год тому назад, Англия признала Временное правительство немедленно после отречения царя, а Франция сделала это с еще большим энтузиазмом, но после октябрьского переворота 7 ноября в этом отношении ничего сделано не было и не могло быть сделано, хотя, если Литвинов в Лондоне называл себя «полпредом», почему бы и ему, Локкарту, не постараться во славу его величества английского короля напустить на себя важность? Но эти настроения скоро сменились совершенно противоположными: уже в начале апреля он почувствовал, что отношение к нему стало меняться – его начали меньше приглашать, реже звать обедать в кремлевской столовой (впрочем, там ели сейчас почти исключительно конину и турнепс), меньше он видел вокруг себя улыбок.

Власти, несомненно, за ним следили и вскользь давали ему понять, что он не имеет никаких прав. К этому времени, ввиду того что война союзников с Германией вошла в критическую стадию после выхода из войны России, Ллойд Джордж перетасовал своих министров и призвал к власти новых людей, что обычно делается, когда страна объявляется в опасности. Асквит, бывший премьер-министром с 1908-го, сделав около года тому назад попытку привлечь консерваторов в правительство, создал коалиционное министерство, но этим дела не поправил. Ллойд Джордж решился на этот шаг и стал почти в один день диктатором Англии, с помощью тори в правительстве, где либералы (он сам) и консерваторы, поддерживающие его (Бивербрук, Бонар Лоу и – позже – Карсон), повернули внешнюю политику Англии в новую сторону. У этой новой коалиции, и это было Локкарту хорошо известно, не было никаких симпатий к русскому правительству, в частности к именам, вынесенным Октябрем на верхи политической жизни России. А возвращающиеся к себе домой союзные дипломаты – англичане и в особенности французы – могли только усилить своей информацией недоверие к «узурпаторам, засевшим в Смольном», как их называл французский посол Нуланс, «теперь перебирающимися в Кремль».

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

«Мура была любимицей [русской] императрицы и близко знала Распутина. Она выжила и стала долголетней подругой Керенского. Она стала членом нового русского двора и чуть ли не любимицей Сталина, который ей позволил уехать из Советского Союза, хотя и умолял ее остаться». (Михаил Корда, «Очарованные жизни». С. 120.) Или еще: «Она начала переводить в 1917 г. Критика повсюду хвалила ее переводы Чехова, Тургенева, Андре Моруа и др.». (На обложке

перевода М.И.Б. «Жизнь ненужного человека» М. Горького. Doubleday, 1971). Книга Моруа о Прусте была переведена позже и вышла – посмертно – в 1975 г. Она никогда не переводила ни Чехова, ни Тургенева.

2

Драматург Н. Погодин, лауреат Ленинской премии, сделал «заговор Локкарта» сюжетом своей пьесы «Вихри враждебные». Другая его пьеса, «Миссурийский вальс», касается США, а в «Кремлевских курантах» одно из действующих лиц – Герберт Уэллс. В 1967 г. один из первых советских диссидентов Ю. Кротков поместил в «Новом журнале» (Нью-Йорк, № 86) свою исповедь, покаянное «Письмо мистеру Смиту». Кротков пишет: «Перед смертью, побывав в Америке и вернувшись домой, в узком семейном кругу он [Погодин] сказал, что все, что он написал об Америке [и Англии?], и все, что о ней пишут другие советские авторы, все неправда». (Подчеркнуто в подлиннике.)

3

М. Горький. Полное собрание сочинений в 30 томах. Москва, 1949. В т. 15, с. 336, есть фотография Горького, снятая Максимом в Саарове, в 1923 г. Он сидит на скамейке в саду, а я – срезана.

4

Я называю Петербург – Петербургом до 1914 г. С 1915 г. до 1924 г. – Петроградом, позже – Ленинградом. Я называю Эстонию – Эстляндией и Таллин – Ревелем до 1919 г.

5

В Краткой Литературной Энциклопедии (1962–1978), 9 томов, 79 редакторов, отъезд Горького из Италии в Советский Союз помечен 1931 г. Горький уехал в мае 1933 г. (том 2).

6

Что касается лондонских бумаг, будто бы сожженных Мурой перед ее отъездом в Италию, за несколько месяцев до смерти, то имеется показание двух людей (просивших не упоминать их имен в печати), пришедших к Муре накануне ее отъезда из Лондона. Они увидели около десятка больших картонных коробок, наполненных бумагами (книг не было видно) и увязанных крепкими веревками. Коробки отсылались в Италию. Дальнейшая их судьба была трагической: дом, в котором Мура поселилась под Флоренцией, оказался слишком тесен, чтобы в нем устроить ее «рабочий кабинет», и был куплен большой автомобильный прицеп, который был установлен рядом с домом. В этом прицепе был поставлен стол и сделаны полки, и здесь Мура «работала». Освещался прицеп электричеством, которое было проведено из дома. Однажды вечером произошло короткое замыкание, и все, что хранилось в прицепе, погибло в огне. Возможно, что это несчастье ускорило смерть Муры.

7

Из упоминаемых в этой книге лиц я лично знала большинство. Из тех, которых я знала только слегка, я назову Ф. Э. Кримера, А. Н. Тихонова, А. И. Рыкова, г-жу Соломон, Шаляпина, Баррета Кларка.

8

И далее, перефразируя Литтона Стрэчи: «Биография может быть аналитической, живой, человеческой, сжатой. Целое может быть выведено из его части. Человек, герой биографии, всегда двойственен, иррационален, необъясним и противоречив, а потому в подходе к нему не может не быть иронии». (С. 256.)

9

Два момента в книге требуют пояснения: первый касается ночи с Уэллсом в квартире на Кронверкском, второй – фотографий, показанных Муре Петерсом. Оба факта она рассказала сама: второй – мне, когда она поливала мне намыленную голову из кувшина в Мариенбаде, первый – Ходасевичу, когда они ехали ночью из Берлина в Шварцвальд.

10

В «Списках гражданским чинам первых четырех классов», за последние двадцать лет до революции, имя И. П. Закревского не значится. Напомню, что «третьего и четвертого классов» были действительные статские советники, директора гимназий и др., служившие «в средних чинах». Статские советники могли быть чиновниками пятого класса.

11

У русских аристократов-эмигрантов было во Франции «второе поколение», которое или родилось в изгнании, или было привезено в Европу в раннем возрасте. Среди них большинство полностью приняло Францию и французскую жизнь, многие воевали в войну 1939–1945 гг., многие женились на француженках и вышли замуж за французов. Среди них были актеры, писатели, художники, ученые, блестящие люди, которые не захотели вернуться в Россию, но ездили туда как французские туристы.

12

Несмотря на то что Мура рассказывала о своей юности в доме отца, в Петербурге, выстроенном в стиле рококо, в Адресной книге С.-Петербурга адрес Закревских указан в доме графини Екатерины Леонидовны Игнатьевой, Фонтанка, дом 52, между Графским и Щербаковым переулками.

13

Четвертый брак в этой серии был брак балерины Л. Лопуховой с известным английским экономистом Кейнсом, но это случилось позднее, в Лондоне, в 1925 г.

Купить: https://tellnovel.com/berberova_nina/zheleznaya-zhenschina

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити